

Глава 5. Судьба.

Тракт петляет по аласу: с увала на увал, с увала на увал. Наконец он с трудом взбирается на Волчью сопку. Вершина её голая, только одинокая лиственница стоит.

Несведущий человек подивится: на ветвях старого дерева висят выгоревшие, иссечённые ветром лоскутки, ленточки, качается на ветру длинный волос из конского хвоста. Это обычай такой, доброе человеческое «спасибо» одинокому дереву: за приют, за свежесть и тень в жаркий полдень. И за смелость. Она в нашем метельном краю дорого ценится, дереву на вершине сопки смелость нужна каждый день.

Самые свирепые декабрьские ветры — все его. Мёрзлые ветки ломаются, будто горлом стон. И в грозу все молнии летят в него. И если один проезжий цветной ленточкой отблагодарит, то другой разожжёт меж корней костёр.

Стоит дерево — старое, старше всех нас. Может, триста лет ему, может, пятьсот. Что ему выпало на долгом веку? И всё ещё зеленеет...

Только ороговела широкая спина, да грубее и морщинистее кора, да всё больше рубцов по стволу и на корнях. Реже ветки в вышине, шишек меньше, а жёлтой хвои всё больше. Если ударить обухом топора по стволу, глухой надсадный гул пойдёт, густо хвоя посыплется.

Старо дерево. Но стоит...

Дети в семье кузнеца Левина были неживучие. Рождались что ни год, но в малолетстве и помирали. Всеволод, несмотря ни на что, выжил. Он и ещё двое: Ванятка и Катя — брат с сестричкой.

Втроём росли — дружно, на воле. Изба их притулилась на краю села. Совсем ещё карапузами, одни рубашки без штанов, потихоньку от взрослых ходили «шишковать» в тайгу, что есть сил колотили палками по шершавым стволам. Село их недаром звалось Сосновкой — вкрапилось оно в самую таёжную глухомань, до железной дороги по прямой не меньше двухсот.

Левин-отец, бородатый, цыганисто-чёрный, — то ли от природы, то ли от ремесла своего. Он был единственный на всю таёжную округу кузнец. Целый день гремел его молот. Он даже обедал в кузне, чтобы надолго не отлучаться, — стлал себе на чурбаке тряпицу. Но стучал, стучал, а из бедности всё не мог выбраться, ничего не выходило, с хлеба на воду перебивались.

О тех давних временах в памяти Всеволода сохранилось: звенит в ушах, не смолкая, железо о железо. И вдруг — тишина. Будто оглушило, будто слуха лишился. Это кузнец Левин ушёл на войну.

По какой-то особой мобилизации, когда уже подчистую выбирали, попал и он в аркан, который получается из серой солдатской скатки. Далеко от Томской губернии шла война, русский царь чего-то там не поделил с японским. И без

Левина-цыгана у них, как видно, ничего не получалось. Никогда раньше кузнец из родного села и носа не казал, а тут — под Мукден...

Многое забылось, но час, когда воротился с войны отец, запомнился в самых малых подробностях.

Всеволод в тот вечер едва дотащился до постели. Второй год батрачил он по найму у Архиповых, а уж Архиповы даром никого не держали, умели выжать из работника. Всеволоду и десяти не было, совсем мальчишка, откуда силе взяться.

Он уместился в своём углу, затих. Сквозь сонно сомкнувшиеся ресницы виделся дрожащий огонёк жирника. Убиралась мать, тень её громоздилась по стене. Вдруг дверь в избу распахнулась, и кто-то огромный, согнувшись и почему-то спиной вперёд, ввалился через порог. Показалось — разогнись эта спина, так и поднимет на себе их избёнку.

Мать, изумлённо постояв минуту, кинулась к спине, с воем ухватила за полу шинели:

— Николенька!.. О господи, боже мой!.. Живой! А Ванятка... Катенька наша... О боже мой!

Ванятка и Катя, братик с сестричкой, почти в одночасье померли минувшей весной от испанки — эпидемия косила в тот год целые сёла.

— Ты!.. Что баешь, стерва? — закричал отец (Всеволод уже понял, что этот огромный солдат в серой папахе и есть долгожданный отец). — Где дети, спрашиваю?!

— Николенька... не виновата, господь видит... Светлые их души... всевышний сам...

Отец оттолкнул мать и с перекосившимся от горя лицом шагнул к куче тряпья, в которое зарылся Всеволод. Мальчик с ужасом услышал, как стучит под солдатом деревяшка вместо ноги.

— Где дети, спрашиваю, так-растак!..

Он выхватил Всеволода из постели, больно прижал лицом к чему-то железному на шинели.

— Сева вот... Сева живой... — твердила сбоку мать.

Отец так стиснул, что помутилось в глазах, Всеволод повис у него на руках чуть живой.

Потом солдат до утра сидел перед огромной бутылью, пьяно мотал головой, зажатой меж ладоней:

— Думал, — а что мне нога! Думал, ведь дети растут, подпора мне... Детоньки мои...

И снова, в который раз, он шёл в угол, склонялся над сыном. Скрипела его деревянная нога, сивухой, острым духом солдатчины разило от отца, — Всеволод притворялся спящим.

— Спи, родной... Хоть и калека я, без ноги... А взращу! Жизни не пожалею, с голоду сам сдыхать буду... Взращу человеком. Выучу! Господь бог слышит — взращу...

И действительно, отец учил Всеволода, себя не жалея. Сначала церковно-приходская школа, потом городское училище — всё отец вытянул.

На каникулах из года в год повторялось одно и то же.

Видя, как ради него надрывается отец в своей прокопчённой кузнице, Всеволод заводил разговор: не поеду больше в город, останусь помогать тебе. Но отец был неумолим: «Поедешь!»

Училище Всеволод окончил успешно, и выпадало ему место в учительской семинарии — не каждому по тем временам такая честь. Но на этот раз парень сказал себе твёрдо: хватит учёности, пора помогать старикам! Он вернулся в Сосновку, чтобы больше уже никуда отсюда не уезжать. Не каким-нибудь архиповским батрачкой вернулся, теперь с его образованием можно было и писарем стать, и конторщиком.

...Такого страшного скандала старая избушка Левиных не знавала за весь свой век. Услыхав о решении сына, суровый кузнец едва не пришиб своё уже взрослое чадо.

— Собачий сын, выродок! В писари он захотел! А все мои труды, все муки — псу под хвост? Так и останешься недоучкой? Нет, накося! Утром же — назад в Томск! В ногах там валяйся! Не примут в семинарию — в песок сотру...

Он подносил к самому носу сына тяжёлый кулак. От кулака пахло железной окалиной.

Делать нечего, утром пришлось собираться в обратный путь, в Томск, проситься в семинарию.

В семинарии с ним и случилось то, что определило всю жизнь: он стал участником подпольного революционного кружка. Девятьсот семнадцатый Всеволод Левин встретил большевиком, членом партии. На этот раз он вернулся в родную Сосновку с пятизарядной винтовкой за плечом, обвешанный гранатами. Полномочный мандат предписывал ему немедля и категорически установить Советскую власть на селе. Так и написано было — «немедля и категорически»...

О революции таёжная Сосновка знала только по слухам. Всеволод Левин был первым живым красным, первым для сельчан вестником новой жизни. Нужно было видеть, с какой радостью встречала его беднота, вечные трудяги, вроде его отца!

Кузнец, теперь сребробородый и оттого, кажется, ещё более чёрный лицом, стоял на сходке позади всех. Деревенские выбирали ревком, сын ораторствовал, обещал расправиться с сосновскими мироедами. Он стоял у стены, Левин-цыган, поверх голов смотрел на сына невидящими от слёз глазами и без звука, одними губами повторял каждое его слово.

Это была награда полной мерой — за все лишения, за вековой горький труд. Сын вырос, как мечталось, — человеком.

На другой день отец с матерью провожали сына — снова в губернию. Далеко за околицей присели у высохшей на корню сосны. Мать прижалась к Всеволоду, зашла в слёзах.

— Не плачьте, мама! — сказал он и поцеловал её в голову. — Не плачьте, наша жизнь только начинается. Всё по-другому будет... Свобода теперь. Прошое забывать надо. А я вернусь скоро. Детишек здесь учить буду.

В те дни он на самом деле был уверен, что жизнь, о которой мечтали, воцарится с завтрашнего дня, что все трудности в прошлом, и это прошлое нужно поскорее забыть.

И вот тогда, на той росстани, старый кузнец Левин сказал слова, которые потом, на своём долгом веку, сын вспоминал не раз.

— Это хорошо бы! Чтобы сразу по-новому, как ты в речи говорил. Только боюсь... уж прости меня, старого, если что не так подумалось... Я их, кровососов, не по науке, а горбом знаю. Чует сердце, не сдадутся они так вот, за здорово живёшь. Драка может получиться... Бо-ольшущая драка! Господь тебя оборони, Сева. Свидимся ли ещё... А ждать тебя будем.

Так он и оставил их у чёрной сосны, двух совсем седых стариков — отца и мать.

К несчастью, прав оказался старый Левин, не ошиблось его сердце. Вскоре по стране такое запылало, навалилось сразу столько бед, что Всеволоду, всему трудовому народу, чтобы отвести эти беды, потребовалось ни мало, ни много — три года. Три долгих года, прикипев к пулемёту, на лихих сибирских дорогах, теряя лучших товарищей и кровью кровавая то белые снега, то зелёные травы. Вот как прав оказался старик Левин, Николай Савелович!

Сказал сын: ворочусь днями, а возвращался на четвёртый год. Под Гонготой, где партизаны Каландаришвили, прозванного Дедом, на смерть сошлись с последними японскими интервентами, пулемётчика Всеволода Левина прошило в двух местах. Очнулся он уже в иркутском госпитале. Так и встретил окончание гражданской войны в Сибири — не погибший, но и не скажешь чтобы живой.

Однако молодая кровь взяла своё, постепенно дело повернуло на поправку. Из госпиталя ему выписали документы в Томск.

Осенним хмурым деньком он стоял перед столом секретаря Томского губкома партии. Здесь ему пришлось несколько пошуметь, добиваясь скорой отправки в Сосновку. Губнаробраз оформил документы, и вот пулемётчик Левин превратился в сосновского новоявленного учителя, едет теперь на попутных подводах к родной избе. Ах, как рвалась туда душа! Шутка ли, за всё это время ни весточки, ни строчки от своих, хоть и написал из госпиталя дюжину писем — всё как в пустой свет...

Цепочка блеклых огней за рекой — это была уже Сосновка. Он перешёл знакомый мосток, в ранних сумерках нашарил ногой тропинку среди пожухлой листвы. За бугорком, вот только перевалить, на самом краю деревни... Только вот обогнуть гривку молоденьких сосенок. Закрывать глаза покрепче, постоять секунду, открыть — и, как чудо...

Он едва не закричал: в ложке за разросшимися за три года сосенками ничего не было — только бурьян да груда мшелых камней. Ни избы, ни кузни, ни баньки в огороде. Будто ошибся, будто с отвычки не в то место завернул. Но стояла всё та же надвое разделённая берёза, о которую когда-то опиралась отцова кузница. Но светилося окошко в избе соседа Михалёва.

Когда Всеволод постучал в дверь этой избы, оттуда послышался знакомый голос Андреевой жёнки: «Кого там ещё?» Потом, увидев Всеволода на крыльце: «Ой свят!», она словно провалилась там, за дверь. Дверь открыл сам Михалёв:

— Проходи, соседушко. С возвращением благополучным тебя. Жив, оказывается... А тут слухи распустили, чёрт знает что люди болтают — и убит, и всяко... Раздевайся, гость дорогой. Фекла, самовар мигом!

Странная и растерянная болтовня Андрея, известного в селе нелюдима, была для Всеволода страшней Феклиных слёз. Перепуганная баба, прикрыв рот фартуком, глядела на него из угла.

— Говори! — Всеволод словно кляп из горла вытолкнул. — Что с избой?

— С избой-то? — Михалев в замешательстве повёл рукой. — Пожар это... Что кузня, что изба — полыхнуло... Думали, и сами займёмся по соседству.

— Отец где?

— Погоди, успокойся.

Всеволод схватил соседа за плечи, притянул к себе:

— Слышь, Михалёв!

И словно вырвал из него:

— Отца твоего... Николая Савеловича... белые...

— А мама?

— Обоих.

Он упал головой на стол, не сняв котомки с плеч. Как когда-то его отец. Сосед с соседкой молча стояли в отдалении.

— ...Как отступили ваши, тут же они и явись. Карательный отряд Красильникова, слышал, поди... — рассказывал Михалёв позже. — Архиповских сынков помнишь, Филю и Костю? Они это... Всех показали, кого ты тогда в ревком выбирал. У кого сыновья с красными или ещё что. Суд устроили. Да какой там, право, суд! Истребили до одного, а избы подожгли. Думал, наша вот-вот займётся, сгорим заодно...

— Да мои же не ревкомовцы! Никто ведь они!

— А сам ты? Вот то-то!.. Видать я не видывал, но люди говорили. Как повели их на расстрел, Савелович, отец твой то есть, на деревяшке своей скок да скок... Они для смеху костылёк у него выбей... Закричал он душегубам: вот вернётся, дескать, сынок мой Всеволод... Сева вам припомнит! Тут его и... до места не довели...

Что-то делал он в школе. С кем-то беседы вёл, однажды даже в застолье его затянули — с прибытием и погибших помянуть. Но всё как в дурном сне. «Сева вам припомнит!» Будто сам, своими ушами слышал это однажды, так явственно кричит отец: «Сева вам припомнит!»

Не стало жизни в родном селе. В один из дней, не выдержав, он сунул браунинг в карман шинели, и чтобы не дать себе передумать, почти бегом — к архиповской усадьбе. Знакомые ворота со следами коровьих рогов распахнул ударом ноги.

Было известно, что Филя с Костюном дали тягу на восток, бежали с последними колчаковцами. Но в глубине души всё равно таилась надежда: а вдруг? Вдруг они не захотели далеко, околачиваются по здешним чащобам? Представилось: он нагрязнул, а они дома как раз, пожаловали обогреться. Нагрязнул, распахнул ворота, а они перед тобой, нос к носу — Филя или Костя! Он постоянно думал о них, и потому ненавистные морды архиповских сынков представлялись Всеволоду явственно, до волоска в бороде.

Когда всходил на крыльцо, он был уже совсем уверен: тут они. Пальцы на браунинге свело, как судорогой. Всю обойму, до последнего патрона в ненавистные хари, в упор, рта бы не дал им раскрыть!

Но встретил Всеволода один Архипов-отец. Никого больше не было в этом доме, когда-то таком шумном.

Много воды утекло с тех пор, как маленький Севка Левин батрачил у старика. За эти годы Архипов обрюзг, оплешивел, на его мятом лице блуждала непонятная, незнакомая улыбочка. Уж не тронулся ли старый живоде́р? — подумалось Всеволоду, когда Архипов при виде его разулыбался, будто друга любезного встретил.

Левин не удостоил старика и словом. Не вынимая руки из кармана шинели, он прошёл в дальнюю комнату, полез на чердак, обыскал амбар, спустился в

ледник, — благо, изучил он подворье в своё время вдоль и поперёк. Но напрасно всё.

Когда весь в паутине и соломенной трухе вылез он из ледника и встретился взглядом с Архиповым, на лице старика не осталось и следа блаженной улыбочки. Жёстко и осмысленно были нацелены в него два чёрных зрачка.

— Чего ищешь, товарищ? Подсобить, может? Я ить хозяин тут...

— Где выродки твои? Филя с Костей где?

— Выродки? Сыны мои, стало быть... Соскучился по сынам моим? Повидаться с сынами захотел, стало быть?

— Ты, старый сыч, говори, чего спрашивают!

— А чего?

— Сыновья где, куда прячешь?

— Тю-тю... Далеко орёлики. Чует моё сердце — далеко. И надёжно, под господом-то богом... Зря шарить, товарищ, мышей распугиваешь, как кот.

— Зря? Это мы ещё поглядим! От меня не уйдут!

Болезненная краснота, как от огня, ударила в лицо старика:

— Руки коротки, вонючка! Бродяга драный...

На том и расстались. Такая у них встреча была. Ещё бы слово сказал Архипов, не сдержаться Всеволоду, так бы и разрядил обойму. Но старик больше ничего не сказал.

В эту зиму Всеволод Левин не столько учительствовал, сколько мотался с чоновским отрядом по окрестным пущам, помогая очищать родной край от бандитского отребья.

И всё думалось: нападёт на след... Когда ты молод и душа твоя в боевом запале, когда легко несёт тебя вперёд могучий поток народной борьбы и верные товарищи бок о бок с тобой, в такую пору верится, что всё по плечу, что нет на свете беды, какую бы не сумел превозмочь, стоит только захотеть.

Но вот наступает час, когда с болью и недоумением понимаешь: есть на свете такая беда. Та же сила в руках и так же сердце горячо, но руки опускаются как перебитые. «Сева вам припомнит!» Кому? В чёрных твоих снах всё кричит отец окровавленным ртом, изба горит, летят по ветру клочья пламени, и мать смотрит тебе в самую душу. Всеволод, просыпаясь, стонал от бессилия.

Он дошёл до точки, за себя уже не ручался. И тогда, бросив учительство на полуслове, Левин через сутки снова оказался в кабинете губкомовского секретаря, от которого — давно ли! — яростно добивался назначения в Сосновку. Он рассказал секретарю всё без утайки — больше не могу, хоть к стенке ставьте. И секретарь понял его.

Левина освободили от учительства, хотя сельские учителя были тогда дороже дорогого. «Куда же ты теперь?» — спросил участливо секретарь. Дорога

у Левина могла быть только одна — на восток. Там ещё громыхали отголоски большой грозы и всё ещё дрался с белыми Дедушка.

— К Деду двину, куда ж ещё, — ответил Левин. — Получается, что не добрал я маленько... С этой святой парой, с Филей да Костей, у меня теперь вся жизнь скрестилась.

Он верно рассудил: если братцы-убийцы ещё живы, то где им и быть, как не среди самых отпетых?

Дед за эти годы стал сибирской легендой — о нём не только в газетах писали, о нём и песни слагали. Он был громкий, бровастый, белозубая улыбка сверкала в его косматой седеющей бороде.

В Иркутске это было. Они обнялись, как родные — комдив и пулемётчик, два дюжих медведя.

— Ай да Левин, ай, молодец! Вот угодил! Прямо сказать, как подарок ты мне.

На кожане у Деда посвёркивал новенький, тогда ещё невиданный орден боевого Красного Знамени. Вокруг Левина теснились знакомые и дорогие лица, Левина тискали, что-то кричали в самое ухо, и сам он что-то кричал.

Знаменитый отряд Каландаришвили только что прибыл маршем из Приамурья. Теперь ему предстояла труднейшая из всех кампаний — поход в Якутию. Подонки белогвардейщины, загнанные на якутскую окраину и обречённые, метались там по просторной земле, от улуса к улусу, зажигали костры контрреволюции, надеясь раздуть их, покрыть пламенем мятежа всю Сибирь.

Не сразу спохватилась революционная власть, было упущено дорогое время, и теперь якутский нарыв настолько созрел, болезнь так пошла вглубь, что никто уже не мог поручиться, как повернётся дело завтра. Особенно если учесть, что и на Дальнем Востоке, в монгольских степях ещё клубились такие же мрачные тучи вооружённой контрреволюции.

И ещё раз, ещё на одном примере, революция убедилась в мудрости своего вождя. Никто в те дни не почувствовал так остро опасности, нависшей над многострадальной Якутией, как Ленин в далёкой Москве. «Чрезвычайно серьёзная опасность», — настаивал он. Сиббюро ЦК РКП (б) завершило тогда Ленина, что указания его будут выполнены со всей неуклонностью. Каландаришвили и его бойцам — лучшим из всех, кто в те времена носил оружие, — был отдан приказ готовиться в якутский поход. Сам Ленин посылал их на подвиг. И выполнить приказ им предстояло именно под командой Деда, который видел Владимира Ильича, пожимал ему руку, беседовал с ним!

Вечерами у огня они дымили табаком, и Дед снова и снова повторял во всех подробностях, как он ездил в Москву, как был принят Владимиром Ильичём в

Кремле, что тот спросил, что Дед ответил и какое при этом было лицо у Ленина. Слушая Деда, Всеволод видел себя на его месте, — то же казалось и другим бойцам.

Вот встал Владимир Ильич, идёт навстречу. Вот пожимает руку каждому партизану, рассаживает в глубокие кожаные кресла. Голос у него глуховатый, пальцы крепкие.

Когда Дед сказал Владимиру Ильичу: «Восемнадцать национальностей в моём отряде», Ленин даже встал со стула, возбуждённо заходил по комнате. «Восемнадцать национальностей! Скажите пожалуйста, восемнадцать... Вот наша сила! Таких нас, сжатых в кулак, кому одолеть? Никому!»

И снова расспросы: как относится к красным средний крестьянин? В чём нуждаются молодые ревкомы? Что требуется от Москвы? Когда прощались, Ленин, держа за руку Каландаришвили, сказал слова, которые вскоре узнала вся Сибирь: «Я верю в вас, уважаемый сибирский Дедушка!».

Никогда, как в эти дни перед походом, не были так близки сердцу суровые слова: «Это есть наш последний и решительный бой». Потому что каждый знал: идём и в решительный, и в последний.

В канун нового, 1922 года шестьсот красных бойцов двинулись санным путём, держа курс на Якутгубернию. С головной ударной группой при своём кольте-пулемёте ехал в перегруженной кошевке и Всеволод Левин.

Никому в отряде он не стал рассказывать, что пережил в Сосновке — хранил эту боль в себе. Лишь Деду признался однажды: «Общую задачу я понимаю, но у меня и своё поперёк горла: нужно двух знакомцев отыскать. Если есть справедливость на свете, непременно отыщу. И ты уж, Нестор Александрович, не обессудь, я тут заранее винюсь — над этими двумя собственнй суд чинить стану...»

Холода в тот год случились страшные. Мороз стоял спиртовой, воздух шелестел, как поповская парча. Не будь бандитских засад на пути, всяческих передряг и трудностей, совсем бы замёрзли бойцы. «Благодаря бандитам только и греемся, — шутили в головном отряде. — А Левину в бою и вовсе лафа — кольт у него разогревается наподобие самовара».

Шестьдесят суток длился этот путь. На шестьдесят первые прибыли наконец в Якутск. Вслед за головным отрядом двигался другой — тот, где был штаб и сам Дедушка. В день, когда штабу прибыть в Якутск, на улицы вывалил весь город.

Но напрасно они прождали полдня. И потом тысячу раз Левин и его товарищи горько упрекали себя за это бездейственное ожидание, — почему не бросились навстречу, почему не проявили революционной бдительности?! Дорога через протоку Лены, между Тектюром и Табагой, узкая скалистая щель,

обросшая густым тальником, стала смертельной ловушкой для отряда. Из засады пулемётным и ружейным огнём в упор бандиты расстреляли каландаришвилевцев.

Ещё не в силах постичь всего случившегося, Левин увидел на истоптанном, чёрном от пороховой гари снегу, среди стреляных гильз, среди трупов людей и лошадей, среди изломанных кошевок и перевёрнутых саней, — увидел тело Деда. Каландаришвили лежал, раскинув руки, в широко распахнутой дохе, голова его словно вмёрзла в лёд. Алые сгустки крови цвели вокруг головы. Валялся рядом пулемёт без замка — Дед в последний миг успел забросить его далеко в снег. И всего-то две ранки было на его могучем теле. Одна пуля попала комдиву в голову, другая — в сердце.

Не стало легендарного сибирского Деда. Для Левина после отца он был самый дорогой человек. И кто знает, не то ли самое ружейное дуло, что целило в отца, достало теперь и Нестора Александровича? То ли самое или какое другое — что тут гадать. Со страшной простотой вдруг понял Всеволод, стоя над трупом комдива: не в Филе с Костей дело. Плакали бородатые мужики, красные бойцы, сняв перед убитыми шапки со своих повинных голов. Уничтожать контрреволюцию до корня! Выжечь нечисть, не давая себе ни сна, ни пощады! Биться до конечной победы — или до той пули, которая найдёт и тебя, как нашла вот Дедушку, прошедшего через столько смертей, преодолевшего столько трудностей, чтобы пасть 6 марта 1922 года в скалистом ущелье между Тектюром и Табагой.

История о том, как каландаришвилевцы отплатили за гибель своего командира, какие испытания и подвиги выпали им на долю в суровой Якутии, как наконец был выполнен ленинский приказ и республика стала свободной, — это история не для одной, для многих других книг, которые будут ещё написаны.

Скажу только о Левине. Он со своим кольцом участвовал почти во всех сражениях, записанных в революционную летопись Якутии. Довелось ему хлебнуть горячего и в Хантагайском бою, и под Никольском, и в Сасыл-Сысы — в этой беспримерной в истории ледовой осаде.

Под Амгой, собирая оружие на поле боя, где были наголову разбиты «братья»-пепеляевцы, шедшие на Якутск, Левин с трудом вытащил новенький шошевский автомат из-под штабс-капитана, навзничь рухнувшего на гребне окопа и скованного морозом в страшной, нелюдской позе — как у кузнечика вывернуты ноги назад, заломлены над головой руки. Уже перепрыгнув через окоп с автоматом, он на ходу ещё раз оглянулся — чем-то царапнула память эта нелепая фигура пепеляевца. Левин присмотрелся, и как из недавнего прошлого на него глянул остекленевшими глазами младший Архипов — Филя. Штабс-капитан... Разинутый в предсмертной агонии рот его был полон снега.

Не испытывая каких-либо острых чувств, Левин глянул ещё раз на труп врага и ушёл. Не одному Филе — он всем им теперь отомстил полной мерой. И за отца с матерью, и за Деда. Амга подвела под большим его счётом черту.

Жизнь пошла как бы по второму кругу: опять он отвоевался, опять праздновали победу, опять разъезжались по родным краям боевые товарищи. Пришла пора сдать оружейному старшине свой верный кольт. Теперь уже навсегда.

Всё повторялось. Но сам Левин к этому времени стал другим! В жизни его произошла перемена, столь серьёзная, что от неё грешно отделаться простым сообщением, не рассказать, как вошла в жизнь Левина светлолицая Аннушка, чтобы потом появиться на свет и Сашке, мальчишке русоголовому, но с глазами смоляно-чёрными и по-якутски узкими.

А было это так.

Начиналась история плохо — хуже и не придумаешь: Левин попался в разведке, как белка в капкан, только зубья лязгнули.

Верхами, он и ещё пятеро, отправились в один из заречных улусов, где особенно беспокойно было. Мест толком не знали, всё им там было вчуже. В засаду влетели самым непростительным образом. Придорожные листовницы снизу от корней засверкали острыми вспышками, взвизгнуло над головой, кони вздыбились. Не принимая боя, разведчики повернули — и дай бог ноги! Бандиты не мешкали. Дюжина всадников мгновенно выросла сзади на дороге: погоня!

— Уходите! Я прикрою! — крикнул товарищам Всеволод.

Он ударил из винта. Бандиты залегли и стали отвечать. Выиграв какое-то время, он выпустил ещё две обоймы и поднял коня. Добром эта погоня кончиться не могла: лошади у разведчиков были тощи и заморены в долгих переходах, бандитские же кони, застоявшиеся в скрадке, только и ждали показать себя.

Гнедой нёс Левина просекой, ветки хлестали по лицу, когтистый кустарник рвал коню бока, ошалев от боли, тот сигал по кустам. Вернее было бы спешиться и осмотреться. Но мысль об этом едва мелькнула в голове, как вдруг всё закружилось, вместе с седлом он нырнул под лошадиное брюхо — в скачке лопнула, не выдержала подпруга.

Ещё некоторое время он чувствовал, как обезумевший конь тащит его. Пытаясь выдернуть ногу из стремени, он схватился за куст, но тут — будто из пушки в упор — громынуло в ушах, зазвенело и всё померкло.

Очнулся Левин на снегу под деревом, видимо под тем самым, о которое его трахнуло на лету. Коня и след простыл. Не было с ним и винтовки. Но и погони, слава богу, не было слышно. Удивительная тишина стояла вокруг. Левин прислушался к тайге, к самому себе и сделал попытку встать. Но при одном

только движении боль в ноге так резанула, что он едва не закричал. Передвигаться Левин мог только ползком, волоча валенки.

Так, на четвереньках, он и стал двигаться — неизвестно куда, только бы не лежать. Давно уже пала тьма, над макушками сосен маячил лёгонький серпик месяца-молодика, подсвечивал снег. Левин полз, ни на минуту не давая себе передышки, положив для верности браунинг за пазуху. Только бы сознание не потерять!

Наконец лес поредел, вовсе отступил, и Левин упёрся головой в изгородь. Перед ним оказалось какое-то длинное строение, крытое пластами снега. Похоже, коровник, хотон по-местному.

Если судить о хозяине по величине этого хотона, то попал Левин совсем не туда, куда можно было постучаться раненому красному разведчику. Сюда стучаться — что добровольно сдать «братьям». Левин знал — за хотоном, с противоположного края, сажень в тридцати, полагалось быть загородам для сена. Доползти бы до этого сена, зарыться поглубже, посмотреть, что там с ногой. Только не было бы собак на подворье, иначе беда. Он так сосредоточился на этих тридцати сажнях, что испугаться не успел, когда прямо перед ним со скрипом разверзлась дверь хотона и женщина, закутанная в шаль, едва не наступила торбасами на руки. Она с испугом отпрянула: «Ай!».

— Дорогая... хозяйюшка... — униженно забормотал Левин, протягивая к ней руку. — Тётенька, ранен я. Ногу повредил... — Тут он вспомнил кое-какие якутские слова, раньше слышанные. — Мин ючюгэй! Кутанна суох... не бойся! Мин красный... Мин — хамначит! Коня надо! За мной гонятся бандиты, понимаешь? Ат надо...

Слыша слова на родном языке, женщина чуть успокоилась. Показывая на хотон, она быстро стала говорить по-своему. «Туда... ползи...» — только и понял Левин. Дверь в коровник она уже открыла. Затем, неловко уцепившись за его шинель, помогла перевалить порожек.

Забеспокоились, завозились коровы. Налетевший ветер хлопнул дверью, которую она забыла притворить. Оба замерли. В самом дальнем углу коровника Левин привалился между яслями и стеной. Она забросала его сеном.

— Тихо-тихо лежи... Тут я дою...

— Спасибо, тётенька... дорогая.

За яслями негде было повернуться. С большим трудом он добыл из-за пазухи браунинг, зажал его в руке, хотя мало было надежды, что оружие поможет в таком положении. Можно ли довериться этой тётке? Не попал ли он в ловушку? И не лучше ли, пока не поздно, выбраться отсюда на волю?

Сил хватило лишь на то, чтобы подумать об этом. Ловя ускользящую мысль, он засыпал, будто валился с кручи, будто погребён был не под сенной трухой, а под обломками скал — уже не пошевеливать рукой, не разжать веки.

Пришёл Левин в себя от громких голосов в хотоне: женщины доили коров и перекликались меж собой. Окошко в стене хотона — плитка льда, вмурованная вместо стекла, — слабо белело, снаружи уже занялось утро. Потрескивали лучинки, их неверное пламя отражалось на мокрых стенах.

Левин сдержал стон, даже язык прикусил — так болела нога. Два знакомых якутских слова то и дело повторялись в болтовне доярок — «бандит» и «красный». Видимо, и сюда дошёл слух о вчерашней стычке между разведчиками и белыми «братьями». Кто знает, может, прибилась его лошадь или винтовка нашлась. Может, «братья» сейчас всю шарят по дворам в поисках исчезнувшего конника?

Сквозь щели яслей была хорошо видна спина той, которую ночью он напугал до полусмерти. Она доила молча, не поднимая головы от ведра.

Но вот лучина, воткнутая в корявый столб, нагорела, стала меркнуть, — женщина встала, чтобы очистить уголь. Огонёк ожил под её рукой, и Левин успел разглядеть лицо своей спасительницы: та, кого он принял за «тётеньку», оказалась девушкой, довольно милой к тому же.

Чудно устроен человек: даже в своём бедственном положении парень оставался парнем. Словно куль затиснут, в нос и в рот лезут коровьи объедья, «братья» его ищут, чтобы поставить к стенке, а он обрадовался: «Ишь ты, попалась мне какая... краля!» У его спасительницы лицо было удивительно белое, чистое — это и в полутьме видно. Тонкие брови, рот чуть припухший... Совсем ещё юная. «Эх, и дрожит же она сейчас! В такое дело влипла...»

На этом он снова впал в забытье.

— Эй, догор. Табаарыс, — она тормозила его.

Левин приподнялся на локте. Чашка мучной каши с сосновой заболотью дымилась перед ним, поверх лежал кусок лепёшки.

— Поешь... И тихо-тихо лежи! Если найдут тебя — о-о-о... Алджархай!

Говорит, а у самой губы дрожат, как в ознобе. Схватила чашку (Левин опустошил её вмиг) и побежала.

Но тут же вернулась.

— Ты — бассабык... табаарыс. Мой брат в Якутске. Тоже кысыл... красный. Зовут Сэмэнчик. Оторов Сэмэнчик... Не встречал?

В их отряде было немало якутов, но Семёна Оторова он не знал.

— Оторов, Оторов?.. — пытался вспомнить. — Много их, дорогая... Горевать не надо, жив твой Сэмэнчик — непременно! Вот доберусь до Якутска,

сразу же разыщу. Оторов Сэмэнчик, я запомню, я запомню, ты только помоги мне. Коня надо, понимаешь? Ат, коня... Хоть какого. Тебя как зовут?

— Ааныс.

— А меня Всеволод. Вроде бы познакомились... Выбраться мне отсюда нужно, Анечка, понимаешь? Коня нужно...

Со двора слышались голоса, и девушку будто ветром сдуло. Левин нырнул в своё сено. Так и не понял: удалось ли растолковать девице, поняла ли она, как ему нужен конь... Не будет коня — каюк красному пулемётчику Всеволоду Левину.

Она всё поняла, славная девушка. Пришла глухой ночью, разгребла сено, склонившись, зашептала, — дыхание её он чувствовал на лице:

— Слушай, табаарыс... в лесу городьба... Покажу, как идти... Прямо — юрюйэ... В лесу городьба, понял? Коней хозяин там прячет.

На его счастье — ноге стало легче. С трудом, но всё же мог ступать. После удушливого хотона свежий воздух ударил в голову, как спирт. С усадьбы он выбрался, держась за плечо Ааныс — она перехватила его руку, перекинутую за спину.

— Теперь пусти, сам пойду... Беги, не спохватились бы! Спасибо тебе за всё. Милая ты...

Он притянул её к себе и поцеловал.

— Кэбис, — она вырвалась. — Будь счастлив! Иди!

Она пожелала ему счастья, эта славная якуточка, и всё у него вышло на редкость складно: хозяйскую утайку он нашёл в лесу без особого труда, выбрал себе коня, на тракт выскочил без приключений. Утром Левин был уже у своих. Как из мёртвых воскрес.

Однако не знал Всеволод тогда, как худо обернулась эта история для самой девушки.

Утром на хозяйском дворе поднялся переполох: из лесу пропал рысак, гордость тойона Дадая.

Около городьбы — мужские следы, валенки. Проследили их — со двора идут. Возле хотона нашли и женские следы, маленькие торбаса. Значит, кто-то из дворовых помогал красному.

Согнали всех батрачек, велели ступать в след.

Допрашивал Ааныс сам хозяин — с тяжёлой ременной плёткой в руке. Разъярён он был пуще пса:

— Засеку до смерти! Кого провожала ночью? Кто коня увёл?

Грешил он на её братца — не красный ли Сэмэнчик Оторов появился в родных местах? «Не знаю. Не знаю. Не знаю». Так ничего и не добился Дадай.

— Ладно! — пригрозил он. — Завтра «братья» тебя порасспросят. Им-то уж скажешь.

Её бросили в подвал и даже привалили дверь снаружи. Два дня и две ночи просидела Ааныс в ледяной тьме, совсем уже простилась с жизнью.

Бандиты не появлялись. Ни завтра их не было, как рассчитывал Дадай, ни послезавтра. А на третий день усадьба огласилась звоном оружия и конским топотом — приехали!

Красные приехали. Почуяв хозяйский двор, ржал под Всеволодом Левиным белоногий рысак. Однако прежнему его хозяину теперь было не до лошадей.

Так вот красный пулемётчик Левин и нашёл себе жену в снежном якутском краю.

Годик был Сашке. Чёрными мамиными глазами он с радостным удивлением смотрел на божий свет и таскал отца за усы. На пристани кипел народ, малыш и вовсе развеселился — столько вокруг интересного!

Уезжали товарищи Левина по отряду. Следующим рейсом предстояло отправиться и ему. Выбрали они с Ааныс для постоянного жительства губернский Томск. Возвращаться в Сосновку — только рану бередить! Ничего дальше своего наслег не видевшая, оглушённая этим огромным, по её представлениям, городом Якутском, Аннушка с любопытством и тревогой ждала встречи с Томском.

Отвалив, пароход бойко зашлёпал плицами и стал уходить вверх по Лене. Добрый путь, друзья!

— Вот и проводили... — не то с облегчением, не то с сожалением проговорил, ни к кому не обращаясь, человек рядом.

Левин глянул вбок и узнал Аммосова, председателя Совнаркома республики. Он только что держал речь на митинге.

— Точно так, Максим Кирович, — по-военному подобрался Левин перед начальством. — Проводили. В одном отряде служили, с Дедушкой всю Сибирь прошли. Левин я, — назвал себя бывший командир пульроты. — А это жена моя. Анна Левина. — Он притянул Ааныс за плечи, взял у неё из рук Сашку, завёрнутого в одеяльце.

Сашка выпростал ручонку навстречу новому человеку.

— Самый главный ваш? — спросил Аммосов.

— Так точно, — подтвердил Левин. — Александр Всеволодович, человек неясной национальности — не то русский, не то якут...

Только познакомились, а уже шёл у них разговор по душам. Левин стал рассказывать, как собирается устроиться в Томске, как страшится жена предстоящей поездки, да и сам он возвращается к мирному труду не без робости.

В пулемётчиках за эти годы успел основательно подрастерять свою семинарскую премудрость.

— Давно в партии? — поинтересовался Аммосов.

— С самого девятьсот семнадцатого.

Аммосов покачал головой:

— Ай-ай...

Левин не понял, что его так огорчило.

— Учитель и коммунист! — ещё раз покачал головой Аммосов. И добавил: — Уезжает — учитель и коммунист!

Все трое стояли у самой воды, глядя вслед пароходу, который превратился уже в малую точку, но зато распушил по всей реке хвост чёрного дыма.

— Жалко, когда такие из Якутии уезжают, — сказал Аммосов. — И это вы твёрдо? Насчёт Томска?

— Твёрдо! — Левин даже рукой рубанул.

Столько было на этот счёт разговоров за последнее время, столько ему предлагали разных соблазнов, и туда приглашали ехать и сюда, что он уже просто боялся снова заводить этот трудный разговор.

— Всё взвесили, до последнего золотника. Томск, и никуда больше!

— Ну-ну, — сказал Аммосов со вздохом. — Ну-ну...

Они распрощались дружески — Аммосов крепко пожал руку Левину, потрепал за нос Александра Всеволодовича, а маленькую ладошку Ааныс на минуту задержал.

— Счастья тебе, Аннушка Левина. Поедешь далеко, новые места увидишь. Удачливая ты, прямо тебе скажу. Такого хорошего мужа себе нашла. И сына такого родила.

Он всё не выпускал её руку.

— Однако послушай меня, Ааныс, ещё два слова тебе скажу. Не ему, а тебе скажу. Одной. Его уже никаким словом не прошибёшь, — с напускным безразличием Аммосов повёл глазами в сторону Левина. — Ни решением, ни постановлением не остановишь. Поедет, куда задумал. Но говорят люди — вот слушай меня, Ааныс, — говорят, что бывает на свете такая любовь, сильнее которой ничего нет. Она и приказов сильнее, и всяких постановлений. А что, если и твоя такая? Взять бы тебе да и приказать ему любовью своей: останемся в Якутии!.. Если удержишь, от имени Совнаркома Якутской Автономной Республики поклонюсь тебе в ноги.

Ну и ну! Не ждал Левин такого оборота.

— А если бы ты захотел меня выслушать, дорогой товарищ Левин, то скажу как коммунист коммунисту: нигде ты не будешь нужнее людям, чем здесь.

Якутия — это жены твоей родина! И сына твоего. Кровь твоя здесь пролита. Товарищи твои в этой земле лежат. Вот что для тебя теперь Якутия!

Левин вздохнул и опустил голову.

— И эта Якутия просит тебя: останься. Много думал — подумай ещё раз. Нет-нет, ничего мне сейчас не говори. — Аммосов предостерегающе покачал головой, видя, что Левин порывается что-то возразить. — Не говори ничего. Просто подумайте хорошенько вдвоём. А лучше — втроём. С Сашкой своим посоветуйтесь. Я же тебе скажу: все эти дни буду ждать тебя в Совнаркоме...

И ушёл, оставив их на пристани.

— Озадачил, скажи пожалуйста... — бормотал Левин.

Аннушка посмотрела на него внимательно, но ничего не сказала, ни о чём не попросила. Всё, о чём она думала, написано было в её глазах.

...Через неделю они и вправду пришли к Аммосову.

Тридцать шесть лет назад Всеволод Николаевич Левин приехал учительствовать в дальнее якутское село Арылах.

Тридцать лет — целая жизнь, а для учителя — сотни жизней. Его ученики выросли и стали колхозниками, гидрологами, солдатами или тоже учителями. И у них появились дети. И своих детей они привели в ту же школу, к тому же Всеволоду Николаевичу. Он выучил, вырастил и их детей. И дети этих детей тоже стали звероведами, лётчиками полярной авиации, буровиками. Вот так оно выходит, если мерить жизнь делами.

У председателя Арылахского сельсовета нет на правой руке пальца. Его и учителя Левина одной гранатой окрестили бандиты, которых отряд ЧОНа выкуривал из тех вон лесов.

Есть на сельском кладбище две могилы. При одной лишь мысли о них обрывается сердце. А когда спускаешься к реке, по правую руку видны сгнившие сваи, развалины хотона. Когда-то это был добротный коровник. Учителю же Левину он казался прямо-таки прекрасней хрустальных дворцов: с него начинали в Арылахе движение за здоровый быт.

При чём тут коровник? — спросит сегодня какой-нибудь паренёк или девочка. А при том, дорогой друг, что родители твои, по обыкновению, ставили юрту и коровник под одной крышей, иными словами, жили вместе со скотом. Отделение юрт от хотонов было звеном, за которое тогда тащили весь новый быт. И не надо сегодня усмехаться: подумаешь, какая высокая жизненная задача — отделение юрт от хотонов! Для Левина, для первых сельских комсомольцев не было цели возвышенной: не пожалеем себя, но отделим юрты от хотонов!

А слышали ли вы такое слово — земпередел? А знаете ли, как организовывался в Арылахе колхоз? А можете представить себе, что у этого

тысячелетнего старика, у Всеволода Николаевича Левина, когда-то была жена — самая красивая девушка во всем наслеге?

Она была белолицая и так легко вспыхивала ярким румянцем. И сын у них был — Сашка, Александр Левин. В Праге есть кладбище советских солдат, погибших при освобождении чехословацкой столицы. Там на белых плитах длинными рядами выбиты русские имена. Есть среди них строчка: «Александр Левин (1923–1945)». Имя русское, волосы у него были русые, а глаза чёрные-пречёрные, как у матери. Он был единственным сыном старого учителя. Был и остался.

Есть люди, о которых можно сказать, что история отечества прошла через их сердца. Однако в Арылахе не в ходу такие цветистые речи. В Арылахе о Левине просто говорят: «Наш учитель». Он приехал сюда молодым, золотоволосым. А потом голова и усы его побелели от слепящих якутских снегов. А теперь он так стар, что волосы его снова стали желтеть.

Вот идёт по Арылаху учитель Всеволод Николаевич Левин. Родной человек...